

Татьяна Грибанова родилась в 1960 году в небольшой деревушке Игино на Орловщине. Окончила институт иностранных языков, поработала в сельской школе, художником-оформителем, дизайнером.

Автор двух книг стихов, член СП России. Живет в г. Орле.

Печаталась в журналах «Наши современники», «Подъем», «Простор» и другие.

# Татьяна Грибанова

## РАССКАЗЫ



### КОЛДУЧИХА

В детстве была у меня закадычная подруга Галка. Зимой мы до блеска укатывали — то на санках, а то и на пузе — Мишкин бугор. А летом в Жёлтом меж камней ловили руками пескаррей да головастика. Всё как у нормальных деревенских девчонок.

Одно меня всегда смущало. Бабку её «Колдучихой» звали. Для Галки она — родная бабушка, а мне боязно. Я вечером мимо её хаты и проходить-то боялась. Засижусь у подружки, а потом она меня от собственной бабки провожает.

Полола я грядки на бахче (в деревне все с детских лет при деле). К вечеру сыпь на руке объявилась. Серпантинном обвила и чешется... Подпрыгнула температура.

Хутор он и есть хутор. Ни врача тебе, ни фельдшерицы. Бабка Галкина за всех сразу.

Промучилась я ночь. Наутро, бояся не бойся, а идти к Колдучихе надо. Никогда раньше у неё не была, а вот пришлось.

Хата под солому. На крыше поросль берёзовая. Мох шапкой набекрень напоздаёт на ветхое крыльцо. Поднимаюсь... Порожки поскрипывают, сердце ёкает... Что как околдует, не вернусь? Превратит в гусыню какую-нибудь.

В углу метла из бурьяна. «Вот, — думаю, — и транспорт её». А сама бочком, бочком от метлы подалеже и в сенцы.

Полумрак. Маленькое окошко в паутине — свет еле проникает. Слышно, как на чердаке воркуют голуби. Зачуяв меня, выпархивают в круглое отверстие под самой крышей. Я вздрагиваю.

По стенкам — плетушки, коромысло, пила двуручка, какая-то ветошь. На пыльной полке — старый медный самовар, керосиновая лампа да пара запасных пузырей.

Из угла в угол натянута верёвка. А на ней — связки сушёных грибов, яблок, пучки калины, всякого чертополоха.

«Вот из чего зелье-то она колдовское готовит, — смекнула я, — небось грибочки — мухоморы да поганки».

Тихонько отворилась дверь. На пороге стояла Колдучиха.

Наверно, ещё по фронтовой привычке она коротко стриглась и, к удивлению наших баб, никогда не носила юбку. После возвращения с войны ходила



в солдатской форме. А потом — летом в брюках, которые сама шила, а зимой — в ватных штанах да душегрейке, подбитой заячьим мехом.

Признавала только самосад. Сажала в палисаде. Разбавляла его душицей и баловала себя самокруткой. Пальцы цвета ржавчины. Кашляла, словно заправский курильщик.

— Что стоишь, заходи. Я тебя уж и заждалась.

Колдучиха проводила меня в горницу. Я обомлела: как так заждалась? Откуда она могла знать, что я к ней зайду?

— Проходи, проходи, что заторопела? Помогу тебе. Только лечить буду, как ягнёночка, ты же нехристь. Ну, Господь никого не оставлял в беде. Пообещай, что не отринешь Спаса нашего, придёшь к нему.

Я молча кивнула.

Горницу на две половины разделяла цветастая занавеска. Бабка, оставив меня, шмыгнула на вторую половину. Что-то заплескалось, и послышался неразборчивый шёпот.

От нечего делать я стала разглядывать «избушку на курьих ножках». Хата как хата: печка с чугунами, ямки рядом, крылья гусиные на гвоздике загнетку обметать. На стене в одной большой раме фотокарточки, пожелтевшие от времени. Поверх рамы — расшитый рушник.

Я пригляделась: среди незнакомых людей — Колдучиха. Только совсем девчонка. Та же стрижка, те же глаза. Рядом такие же молоденькие санитарки. Стоят у танка, а на нём: «На Берлин!». Видать, правду в деревне говорят: всю войну в медсанбате отпахала.

На дощатом столе горой какие-то травки, корешки. «Работала», — подумала я. В углу под образами лампадка. Пахло чем-то очень приятным, неизвестным. Поразил иконостас. Казалось, такой древний, что лучше и не при- трагиваться, рассыплется. Оклады потемнели, но лики виделись отчётливо. Почудилось даже, будто святые угодники за мною наблюдают, следят, как я без хозяйки себя веду.

Прислушалась: «...и запрети духу немощи, остави от неё всяку язву, всяку болезнь, всяку огневицу и трясавицу...»

Скрипнула дверь. От неожиданности перехватило дух. В горницу ввалился кот. Ну, как же в этой хате да без него?

— Потерпи чуток, сейчас тебе помогу, — послышался голос Колдучихи.

Кот, не обращая на меня внимания, пытался взгромоздиться на табуретку. Голова его была ничуть не меньше моей. Никак не мог устроиться. Наконец притворился, что затих, уложив только туловище на табуретке. Для головы, хвоста и лап места не хватило — свисали в разные стороны. Кот обтекал сиденье, шурился и зорко наблюдал за мной исподтишка. Казалось, даже ехидно ухмылялся, намекая на моё скорое будущее. Я боялась пошевелиться.

Вдруг громко закричал петух. Сердце моё оборвалось...

— Что вздрогнула? — послышался хриплый голос бабки. — Это Стёпка балует, петуха дразнит.

Я и не заметила, что в углу у окошка висела клетка, а в ней на сучке при- мостился скворец.

— Всех во дворе переснял, шельмец. Как начнёт выдавать! И за гусака шипеть может, и за курицу кудахчет, а уж птичьих голосов знает — не пере- честь! Уймись, Стёпа, что ты нашу гостью напугал. А ты, Таня, посыпь ему конопелек, он тебе и споёт, спасибо скажет.

Сыпанула из плошки, стоящей на подоконнике, зёрнышек. Скворец щёл-

кнул раз, другой и запел. И на душе у меня отлегло, даже повеселело. А тут и бабушка выглянула.

— Заждалась небось? Ну, садись, голубушка, поближе к окну, посмотрим, что тут у тебя.

Я протянула руку.

— Да тебя ужако, милая, укусил. Редко, но бывает такое. Видать, ты его потревожила, сам-то он добрейший, не тронет.

Сполоснула Колдучиха мою руку водицей нашёптанной, дала напиться из бутылочки с Божницы, а на прощание сказала:

— А ты с Галочкой моей заходи, не пужайся.

Возвратилась я домой, смотрю: рука — здорова, температуры — след простыл.

Так я побывала на приёме у Колдучихи.

С этих пор, когда бы мы с Галкой ни забегали к бабе Насте — так, оказывается, Колдучиху звали — на чай, кот тут же сползал и уступал мне табуретку, а Стёпка-пересмешник, приветствуя нас, орал на все голоса.

## АНИСОВЫЕ ТУМАНЫ

Светаёт. Обивая росу с подорожников, подхлестывая тёлочку-первогодку, отец спускается в анисовые туманы к Жёлтому. Наша очередь пасти стадо.

Выхожу на кручу. Хуторские петухи передразниваются с заречными. С низины слышатся ленивое мычанье, щёлканье кнута, бабьи окрики. Окутывая заросли ивняка, молочные клубы бесшумным потоком валят по подгору, затапливают долину.

Полусонное стадо, бороздя парное июньское утро, ныряет в кисейные омуты, уплывает в непроглядные пойменные луга.

Прозябнув, кутаюсь в мамину шальку, шмыгаю в садовую калитку, стараясь не задеть отсыревших жасминов. По пути горстями нарываю охалку клеверной отавы, несу к сараю.

Отворяю дверь, обываюсь глазами.

Посреди хлеба рыжей горкой в белесых проплешинах виднеется Лыска. Вторые сутки не встаёт. Помирает. Старая совсем. Приносила ей ломоть с солью, даже не смотрит. А ведь как любила!

Ветеринар Петрович советовал прирезать. У отца руки не поднялись. Поручил за ней присматривать.

Подхожу, подкладываю поближе свежую охалку. Душа обмирает, слышу, как корова вздыхает болезной утробой. Присаживаюсь на корточках. Жалею. Глажу по худым старческим бокам, трогаю сбитый прошлой весной рог, лапскаю крупную белую звёздочку посередине курчавой морды. Приговариваю: «Кормилица ты наша!»

Лыска чуть поводит ухом, прислушивается. И вдруг — из её огромных глаз выкатываются слёзы.

Может быть, ей припомнились тающие в июньском мареве колокольчиковые поляны?

Нет сил вернуться на хуторские просторы, услышать треск невидимых кузнечиков в дремотной непролазной травнице у Закамней, постоять в прохладной сине-глинистой мути, пожевать сладкие будьялья тростника на болотце.

А может, напоследок вздумалось Лыске хоть одним глазком, хоть на минуточку, посмотреть на хозяйку, спускающуюся к тырлу с подойником в

томный июньский полдень. Мукнуть протяжно навстречу, углядев издалече знакомую косынку. Обнюхать и лизнуть от радости синюю в мушках штапельную кофточку. Пожевать духовитую, посыпанную зернистой солью корочку, которую хозяйка припасла в фартучном кармане.

Ничего не поворотить, не возвернуть. Не рассмотреть сквозь щёлку сарая родные заливные луга, не увидеть расхворавшейся хозяйки. Не услышать ласковое, до каждого звука знакомое: «Голубушка, заждалась, моя хорошая!» Не взбрыкнуть, пьянея от весны и свободы по подгорью, не облизать в январскую стужу в душном хлеву новорожденного телка.

Всё в прошлом.

В полумраке слышится слабый стон. Я с холодным ужасом вижу, как стекленеет взгляд и закатываются Лыскины глаза.

Кидаюсь к ней, обнимаю, долго плачу. Горько от беспомощности. До вечера не могу отойти от сарая. Тяжело и больно, словно умер кто-то очень родной.

Возвратясь с пасьбы, отец выбирает в горе большую глинистую яму, везёт на телеге корову и закапывает.

...Тёлочку переводим из клетки в хлев, ... Лыскино место.

И жизнь продолжается.

## ЛЕДЕНЦЫ

В глубине сада, в захолустье, присев на правый бок и облокотившись о размашистый штрифель, притулился ветхий-приветхий пчельник. На зиму отец прячет ульи в этот сараюшко. Каждый год грозитя развалить его да сладить новый. А пока по осени, общипав по верху прогнившую солому, подвозит возок-другой ржанки и наваливает её на крышу сарайчика. Отец считает, что под железной или шиферной крышей пчёлам зимовать холоднее, а потому укрывает ульюшки соломой. Уж и не помнит, сколько слоёв взвалил на крышу допотопного пчельника. Посмотришь издали: небывалый муравейник на наших задворках взгромоздился.

Зимой амбарчик заваливает снегом по самую макушку. А по весне, как разыграет солнце, пчельник выгаивает: сначала соломенный стог покажется, потом проглянут и стены. Они у сарайчика глиной для тепла обмазаны. Такие хатки мазанками называют.

Во всей деревне не сыскать длиннее и вкуснее сосулук, чем те, что свисают с соломенной крыши нашего пчельника. То ли оттого, что сосулька, прежде чем стать «долгоиграющим» леденцом, пробежалась водичей талой по свежей сололке, то ли оттого, что штрифель усыпал крышу последними яблоками, и они так и остались на ней зимовать, вкус у ледышек с нашей мазанки особый — кисло-сладкий. И пахнут они чем-то очень знакомым, нашенским: вощиной, ржаной бабушкиной краухой, яблоневым цветом.

Ребята с нашего переулка выпрашивают у меня «соломенные» карамельки. Все знают, что они не хуже покупных барбарисок. Даже в очередь за ними выстраиваются. У каждого своя сосулька. День ото дня она, будто морковка, растёт и зреет.

В марте с утра, даже по тенёчку, снег на крыше начинает подтаивать, и малюсенькие струйки воды с соломинки на соломинку подбираются к гирлянде ледышек. Коснувшись сосулук, вода замерзает, а ледышки толстеют и набирают в весе.

Пронырливое солнышко дотягивается наконец своими лучами до «кон-

фетной фабрики», и карамельки от тепла начинают плавиться. Вкуснющие медовые капли стекают по разбухшим соломинам, по сосулькам, вытягивают их в длину. Срываются с кончика сосулук, и снизу, из снега, навстречу им растёт бугорок не менее сладких ледяных бобышек.

После полудня начинает прихватывать. Морозец к вечеру крепчает. Ручеёк уже не бежит, а медленно сползает по прозрачной морковине. Капель звучит всё реже и реже. Зато сосулька вытягивается всё длиннее и длиннее.

Наступает самый важный момент: надо изловчиться снять, не обломав свою конфетину. А потом, гоняя в Шешкином овраге на санках или чиркая по запорошенной глади Жёлтого ручья коньками, успеть (до того, как загонят домой) излизать, исхрустеть, изгрызть свою сосульку, при этом умудриться не подхватить ангину, потому что через пару дней подрастёт карамелинка куда вкуснее этой, насквозь пропитанная солнцем и весной.

## КИТАЙСКИЕ ФОНАРИКИ

С майских не унимались дожди. Не просыхало до самых Петровок. Наконец скомканное куцее лето порскнуло ржаной куропаткой в переспелые августовские травы. Облудившись, выпорхнув роем перламутровых мотыльков, зацвёл Косёнихин шиповник. Зашебуршала деревня. Спихватилась, бросилась догонять упущенное тепло. Словно молодуха, заболтавшись с товаркой, кинулась собирать уплывающее по течению бельё.

Бабка Анисья, накопошившись в палисаде, присела было у крыльца перевести дух. Но не прошло и минуты, как спихватилась, всплеснула руками, непривычными к безделью, и, поставив наземь перед лавкой полную плетушку, защёлкала поспевшими стручками. Захвахтели куры, не доверяя Аниске, зашуршали скрюченными шелушками, выискивая оставленные по бабкиному недогляду фасолины.

Старушка кышала наглых, норовивших запрыгнуть в корзинку кур. Звенела о дно эмалированной кастрюльки ядрёная рябая фасоль. Нежилось, раскачиваясь, словно в люльке, в Кузиных ракетках, незрелое солнце.

На ворохе почерневшего серебристого тёса Анискина соседка, хлопотная Степановна, разостлала справленную лет пятнадцать назад перину. Накидала подушек-думок — дочернино приданое.

Ей без надобностей в городской фатере, а матери маята с ними. Соседка ворчала, поворачивала добро с боку на бок. Отсырели небось за дожди-то в кладовке. На кой ляд ентакую агроменную свостожила? Тягай теперь!

— Сдам закупчику, как пить, сдам! — серчала она на «пастелю».

Но не успела Степановна «как следно перо прожарить». Снова заненастило. Только теперь по-осеннему, с хрусткими утренниками, с печалью потянувших за Дмитровские леса журавлей.

— Год натужный. В числинике прописано — високосный, — просвещала Степановна подругу, бабку Анисью.

Некошеные травы, вымахавшие за мокрое лето, полегли, спутались от заморозков. Сник не ко времени расхорохорившийся шиповник. И только китайские фонарики, заполонившие Анискин палисадник, всё никак не гасли.

Много лет назад, когда перестали вызревать помидоры, зачернели прямо на корню, и соседки плетухами потащили гниль за бакшу, завезла Нина, Анискина дочка, невиданный на деревне овощ — физалис. Пообвыклись деревенские, полюбился им физалис. С картошечкой в холода — только подавай!

Как уж затесались семена другого сорта, неизвестно, только на некото-



рых растениях высыпали ягодки с ноготок. Душистые, земляничкой отдают. Бабы наострились из них варенье стряпать.

А уж после этих чудо-ягод объявились пустышки-фонарики. Полыхнул по осени палисадник у Анисьи — подивилась деревня, закалякала, мол, всегда бабка выдумщицей была. Даже физалис у неё не как у всех. Охাপками таскали букеты с её усадьбы. И светили Анискины фонарики на кухнях зиму напролёт, и радовали глаз под заунывные страдания ветродуев.

...Размиселило дороги. Грачи, заложив крылья за спину, будто фермер Петрович натруженные за уборку руки, осматривали пахоту, пробегались вдоль озимых, взмывали и терялись за погасшими перелесками. Голосившие за амбаром вётлы, повязав чёрные вдовьи платки, срывали с себя поседевшую заскорузлую листву, сметали с упавшего неба грязные ошлётки туч.

Из города за Степановной прикатила дочка Раиска. Посбирав хархары, Степановна заглянула к Анисье попрощаться, завсхлипывала.

— Ну, прощай, подруга... Годы наши какие... Не поминай лихом, коли чего... Может, и свидетесья не придётся...

Вздумала было попытаться, нет ли весточки от Нинки «запропашшай», но, взглянув на Аниску, не решилась. Подбросила ей двух хохлаток да кота Дармоеда. С тем и отбыла.

...Остались на их урынке две хаты топлёные. В одной — Аниска с оглохшим «посля фронтовой контузии» дедом Грихой, в другой — бедолажный сыч — дед Филька. Старуха его, Пантелеевна, под Красную горку преставилась, наказав «блюсти как следно» двор, не оставлять без пригляду хату, не иссушить гераньки.

Сентябрь хрустко ложился на ступеньки крыльца, покрывал изморозью истончённые многолетними дождями перильца. Попервости Аниска до свету выползала посыпать курам пшенички, выпустить по нужде кота. Кое-как она спускалась со склизкого камня, лет пятьдесят назад положенного мужем вместо первого порожка к новой хате. Останавливалась у знакомой до каждой трещинки скамьи. Смотрела, как колышутся на ветру лёгкие коробочки физалисов — бумажные китайские фонарики.

К октябрю ноги её совсем перестали «слухать». Кое-как Аниска ещё перебиралась от кровати до печки, но в сенцы выйти уже не пыталась.

Хата зачуяла неладное. Сникли бальзамины на окнах. Кот Дармоед, шаркающий с сундука в печурку, поднимал пыльное облако пыли. И без того кашляющий от своего забористого табака дед Гриха начинал перхать и вышвыривал «фатиранта» в сенцы «на прогул». Самовар, оставшийся ещё от Анискиной матушки, напрочь запамятовал любимую «кадрель», прикорнул на полке, загрустил, роняя горемышную старческую слезу. Не пахло вишнёвыми веточками. Чай в закопчённом чайнике, с загнетки, отдавал помоями, словно Гриха заваривал его не из пачки со слоном, а тайком от бабки кидал в его утробу горсть прошлогодней сенной трухи.

Петухи на рушниках поблёкли, обליняли. То ли свет перестал проникать сквозь дырочки ришелье на ситцевых занавесках, то ли бабка совсем обезглазела: не различала уже китаянку на купленном в молодости плакате. Но до мельчайшей подробности помнила (в такие-то годы!) и кимоно, изукрашенное невиданными зверями, и многоярусную пагоду, и цветущую сливу, и фарфоровое лицо улыбчивой девчонки.

Когда-то белёные стены деревенских хат увешивали плакатами с коря-

выми буквами-пауками и приветливыми узкоглазыми девушками. Теперь, поди, не сыскать таких картинок! Только Анисья не смогла расстаться с той красотой. Так и прижилась в её горенке красавица-чужеземка, напоминая бабке о бесследно канувших годах её молодости.

...Аниска, как больной младенец, путала день с ночью. Неразговорчивая всю жизнь старушка, не умолкая, часами, рассказывала деду посередь глухой ночи о годах работы на донбасских шахтах, о том, как в сорок втором фашисты под дулами автоматов затолкали её с подругой в товарняк и угнали в неметчину.

Деду Грихе казалось, что старуха его вообще перестала спать. Всё говорила и говорила. Вспоминала, как увидала его, сержанта Григория Трифонова, в августе сорок пятого. Как спустя год, подгуляв на радостях, плясал он «Барыню» под окнами роддома. Как ведро молока парного принёс, велел акушеркам новорожденную поить, не жалеть.

— А помнишь, Гриша, какого ты петушка вырезал на новое крылечко? — умилялась бабка, впадая в детство. — Наш-то горлопан обознался, крыльями захлопал, на крышу вскочил, давай на него налетать, думал, всамделишный.

Иногда захаживал одинокий Филя. Садился на табуретку у двери, чтобы «не загварыздать половики», скручивал цыгарку, угощаясь хозяйским табачком.

Затянувшись, дед Филя откашливался и, подступаясь к больному вопросу, начинал издалека.

— А что же, Зинаида не появлялась? — пытал он о почтальонке. — Пенсию добавили, нет?

Аниска наперёд знала все его ухищрения. От скуки дед днями слушал радио, был в курсе всех надбавок и добавок, просвещал и соседей. Но как же он мог напрямки спросить о соседском горе? Жалостливый Филя притворялся, что не знает о муках стариков — об исчезновении их беспутной дочери. Этот невынутый крыжовниковый шип рвёт дни и ночи их души. Ни запить, ни заесть.

Зинаиду в забытой Богом деревеньке ожидали, словно во время войны Ньюру-почтальонку. Ну, могла же она, наконец, порадовать угасающую Аниску весточкой, сыскать её никудышнюю Нинку! Мало ли — ссора вышла! «Свое ведь... Как бывает... Отойдут, опять ладят. А тут — смертная обида. Да на кого? На мать родную!» — возмущался про себя Филя.

— Нет ли чего от дочери? — виновато поглядывая на Аниску, наконец-то насмеливался дед.

Бабка затихала, казалось, даже переставала дышать. Выручал Гриха.

— Вот диву даюсь, Хвилипп Николаич, сколько годков бок о бок земельку топчем, а на огороде твоём век табаку не видывал.

— Так я его за бакшой, подале от бабки сеял, дужа ворчала... Теперь вот и поворчат некому...

— А скажи, мил человек, почему жа ты мой изводишь?

— Чужой завсегда скуснея! И подмешиваешь ты, Гриша, чегой-то, — ох, и духмяный! У меня посла твоего табачку усы неделю пахнуть.

— Чего, чего? Донничку, ясно дело, — важничал довольный похвалой Гриха. — Только непременно жёлтого, с Плоцкой ложбины. Аккурат щепоть на цигарку.

Скрутив пару козьих ножек про запас, Филя отправлялся «за гусьми». Возвращаясь с копаней, швыдко гнал табун мимо соседского двора, стараясь, чтобы гуси не кагакали, «не докучали» хворой Анисье.

По весне, как преставилась старуха, остался он неприкаянным сиротой. Детей Бог не дал. Из родных — соседи, Аниска да Гриха. Вместе хаты отстраивали после войны, вместе на сенокосе управлялись, вместе радовались

урожайным годам и перебивались в лихолетье. Припомнилось, как обучала Аниска его старуху с гусьми управляться.

— В Германии-то я на хуторе жила... при кухне определили, — вспоминала соседка. — Девчонка совсем... Хозяин, чтоб на фронт не услали, откупался от властей гусьми. Не один табун держал. Уж сколь их перещипала — не припомню. Научилась у них, у германцев, не по-нашенски гусей обрабатывать. Возьмёт ихняя фрау утюг, угольёв раскалённых засыпит. Тушку тряпицей мокрой накроит и пришпарит сверху тряпицу-то. Перья горстими сымай! Лёгонько. За день сколь птицы уработаешь! Уважал меня хозяин за усердие. Порядок они любили.

Вот и на этот раз после ухода Фили старушка очнулась, попросила Гриху принести с улицы «Ниночкины фонарики». Дед, накинув фуфайку, вышел в палисад, принёс несколько веточек, подал бабке.

Аниска не могла уже видеть ярко-оранжевые коробочки, только слушала их шуршание, ощупывала исхудалыми руками.

— Не горять... потухли, — расслышал Гриха, щипавший петуха «на бульонце для Анисы». — Как она там... солнышко моё? Не дождуся, видать... Можить, с ней что приключилось?.. Семь лет!.. Хоть бы взглянуть напоследок!..

Аниска таяла на глазах. Гриха уже не отходил от жены.

Заглядывавший «поздороваться», Филя выходил, осторожно прикрывал дверь. Смекнув наконец, что приходит Анисье последний час, молча запряг Воронка и покатил на село.

Спустя несколько дней почтальонша Зинаида доставила телеграмму.

Гриха взял с этажерки развалившиеся очки, долго цеплял на ухо резинку, приложенную вместо дужки. Никак не мог расслеповать: буквы мельтешили, скакали, словно блошки по клочку казённой бумаги.

— Не сподоблюсь я, Зина, ты уж сама.

Почтальонша вздохнула и, не глядя в телеграмму, прочла: «Нинка! Мать плохая! Срочно выезжай».

— Возврули, — добавила. — Адресат выбыл.

— Не пойму я никак, милая, растолкуй ты мне старому.

— А что тут не ясно? Нинка ваша съехала с квартиры или прикинулась, что там не живёт.

— А я не отбивал телеграмму-то.

— Ну, энтова я не знаю... — Зинаида помялась и прошептала: — Отходить, знать, Анисья Микитишна?

Гриха всхлюпнул, заскоргыкал на вторую половину к бабке.

И без того затяжные октябрьские ночи стали для него нескончаемо-бессонными, маятно-тяжёлыми. Рассвет проникал в шелку отзынутой Дармоедом двери, напоминал о своём появлении голодным урчанием кота, квохтаньем пеструшек, обклёвывающих глину с завалинки под окном светлицы. Дед ненадолго отлучался, затапливал печь, согревал чай. Отыскав в чулане собранный в Ярочкином логу девясил, беспрестанно заваривал его. Иногда выходил в сенцы, садился на лавку, тихо, чтоб не слышно было в хате, толковал сам с собой. Вспоминал забросившую их с бабкой на произвол судьбы дочь.

— Ну за что осерчала, не едет? — мучительно раздумывал Гриха. — Пенсию внукам, Толику да Славке, всю как есть... на ученья. Так её ж дети-то... И ей доставалось, не обижали. Материны марки германские сама по доверенности получала. Анисья и в руках не держала. Чего разобиделась, в толк не возьму. Бе-да!



Под Покров явилась Степанидина Раиска. Побежала в сельсовет, оформила материны бумаги. Перед отъездом заглянула к соседям.

Посередь комнаты на чисто выскобленном столе, покрытом суконным одеялом, лежала бабка Анисья. Руки крест-накрест. На глазах по медному пятяку. Вместо свечки — веточка с горящими китайскими фонариками.

Раиса молча прошла на кухню, захлопотала.

К вечеру с дальнего края подтянулось несколько старух. Открыли Анискины сундуки, разыскали узелок со смертным. Тут же расшитые скатерти, занавески, пододеяльники... Вспомнили: ни одна баба на деревне не выдала дочку замуж без Анискиных вышивок, без справленных её руками наволочек, карнизов, подзоров. А уж рушников перевышивала — и не счесть!

— Отгрудилася рукодельница, — Раиса услышала, как приговаривали бабки, снаряжая Анисью в последний путь. — Нинка-то, поди, не знаить. Сообщили, аль нет?

— Под праздник какой преставилася! Под Покров! Не кажнова удостоить так-то Господь.

С рассветом пошёл снег. Дед Филя привёз на санках по первопутку трёх гусей.

— Накося, Рая, на холодец... На помин души новопреставленной... Умела его Анисья стряпать...

Раиса вспомнила, как тётка Анисья учила её когда-то управляться с птицей.

Подготовив гусей, растопила печь, задвинула ведерный чугунок подальше в жар. Шмыгнула во двор за дровами. Набрал из-под сарая охапку, замерла — к дому шла Нина с сыновьями.

Филя, сгружавший с саней столы и скамейки, утёр кулаком глаза:

— Ничего... Ничего, что опаздала... Приехала, и хорошо... Душа Анискина ишо тут... видит...

## НАСЛЕДСТВО

*Перебираю жизни лоскутки,  
Остатки ярких, сброшенных нарядов.  
Все воды вешие за счастьем утекли,  
Им возвращаться в прошлое не надо...  
А мне куда от памяти моей?!  
Пропето, отгорело, отзвучало...  
И лоскутков не хватит для затей  
Лоскутного, как в детстве, одеяла...*

Н. Акимова

### I

Мама, переспорив родственников, наперебой предлагавших для новорожденной вычурные имена, назвала её Надеждой.

Когда Надя подросла и полюбопытничала, почему у неё такое «простецкое» имя, мама растолковала: «Даже в самую трудную минуту, когда может показаться (не дай-то Бог!), что тебя в жизни ничего не держит, если ты останешься один на один со страшной бедой и некому тебе помочь, знай, что ты не одна, у тебя есть НАДЕЖДА — ты сама. С таким именем ты просто обязана

верить, что все несчастья, которые редко кого обходят стороной, обязательно минут, и всё образуется».

Надя уж и позабыла тот давний разговор, но, видать, имя у неё действительно не такое обычное, как ей казалось. По крайней мере, каких-то больших напастей (кроме развода) за сорок с хвостиком с нею не приключилось.

Школа, институт, рождение сына, всё, как и положено, как у всех хороших девочек. Может быть, судьба и до конца дней не заморачивалась бы, но вот уже десяток лет она выживает в другой стране. Не стало той, в которой она росла, училась, начала работать. Канул в Лету Советский Союз.

К этому ни она, ни её родные, ни соседи, ни сотрудники не были готовы. Неразбериха сбила с привычного ритма столицу, прокралась и в её провинциальный городишко. На Надиных глазах рушился десятилетиями устоявшийся уклад, а с ним надежды миллионов людей на покой и стабильность.

Видно, настал тот самый, тяжкий, час, о котором когда-то говорила и которого так опасалась её мама. Беды посыпались одна за другой. Ну, так ещё бабушка сказывала: «Пришла беда, отворяй шире ворота, потому как одна она в гости не наведывается, всё с сестрой да с кумой».

Первый раз она (эта треклятая беда) возникла в образе заведующей их отделом Людмилы Петровны, которая объявила о сокращении штата на 70%. Среди «осчастливленных» оказалась и Надя.

Закончив иняз, она двадцать лет отработала на заводе. Переводить технические бумаги — скукотища, не весть что. Но это кормило. Конечно, они с сыном Витей жили более чем скромно. Надя научилась превращать бумажные рубли в «резиновые» — растягивала зарплату так, что хватало одеться-обуться-прокормиться, выкраивала даже на Витину художку. Продуктами помогали родители, так и не рискнувшие (как она их ни уговаривала) переехать к ней в город.

В той, заводской, жизни случались и маленькие радости.

Как-то в день её рождения сотрудники скинулись, и когда утром она пошла к своему столу, обнаружила на нём длинный алый футлярчик с ниткой крупного жемчуга.

«Розовый, — икринка к икринке! — затараторила подруга Катерина, заглядывая через плечо. — Примерь, примерь, или не рада? Это тебе от нашей дружной компании. Заметь, неделю в очередях из-за этой прелести толкалась, выстояла!» — отрапортовала она с гордостью.

Надя, конечно, порадовалась, даже разволновалась. На хлеб, одежду она ещё наскребала, а чтобы украшения! Это откладывалось на неопределённое будущее.

Но через несколько месяцев завод обмер в недобром предчувствии, едва дышали кое-какие чудом уцелевшие цеха.

Она вышла через проходную в звонкий апрельский день. В лужах чуфыкались воробьи, на газонах «трещала», пробиваясь сквозь прошлогоднюю листву, первая поросль. Весна дирижировала в сквере неумолчными грачиными оркестрами. После зимнего полусна снова зажурчала, зазвенела, занабирала обороты неумённая жизнь. Всё вокруг жило в ожидании каждодневных перемен, чего-то обязательно лучшего, светлого и радостного.

А Надежда шла по улице с сумкой, в которой среди толстенных, скопившихся за двадцать лет словарей затерялся тонюсенький конверт с последней зарплатой. О том, когда она, эта вечная головная боль — зарплата, появится снова, придавленная навалившейся безнадёгой, Надя в те злосчастные минуты мыслить не могла. Она знала, как непросто сыскать более-менее оплачиваемую работу. Ежедневно предприятия города за проходные, в никуда, выплёскивали потоки рабочего и служащего люда, разом ставшего лишним, ненужным.

Надежде вспомнилось вдруг, как перетерпевала горе-несчастье её мать. Всегда жизнерадостная и открытая, она вдруг суровела лицом, замыкалась. Становилась немногословной. Действия её приобретали совершенно выверенные движения. Напрасно не растрчивались ни слова, ни взгляды. Нарядный пуловер заменялся на повседневную, штопаную-перештопаную кофту. А самое главное — мать искала утешение, а быть может и силы, окунаясь с головой в работу. Перестирывалось нужное и ненужное, выпекались башни блинов, открывались кладовки: чистилось, драилось, выметалось, выскабливалось. Уходя с головой в хозяйство, она отвлекалась от неприятностей, монотонность хлопот наталкивала на размышления. Проходил день-другой, и в голове её созревало решение, отыскивался выход из неурядиц.

Обнаружив, что наконец-таки в доме и во дворе всё блестело и сверкало, а мать, куда-то сбежав, с кем-то потолковав, снова прихорашивалась у трельяжа, Надя понимала: схлынуло, отлегло у родимой на сердце, разрешились тяготившие её напасти.

Дома, задвинув под письменный стол сумку со словарями, Надежда сняла бусы, уложила в бархатный футлярчик и вместе с конвертом подоткнула в комод под стопку постельного. Мелькнуло: «Надо, чтобы Витя о случившемся не знал как можно дольше. Пусть живёт спокойно, а то задёргается... выпускной класс».

И начались каждодневные пустопорожние скитания по неотягощённому предприятными городу. Но там, где, надеялась она, могли бы пригодиться её знания, опыт, шли свои увольнения, сокращения. Надя обивала пороги школ. Но (как никогда!) учителя держались за свои безденежные места мёртвой хваткой.

Город переполнился безработными, превратился в огромную барахолку. Торговали всем, чем только могли. Занищавший люд тащил на рынок накопленное годами. Рядом с извечными базарными торговками, не стесняясь знакомых, стояли инженеры, квалифицированные служащие, врачи, студенты, учителя.

Надя, перехватив деньжат у Катерины, которая каким-то волшебным образом всё-таки держалась в отделе, смоталась в столицу, накупила всякой всячины и тайком от Вити вышла на базарную площадь.

Боже мой! Разве станет кто-нибудь рассматривать её копеечные безделушки, когда все только и делают, что измудряются хоть как-то «втюхать» рекой слоняющемуся безработному люду что-нибудь из своего «бесценного» товара.

И вот настал тот час, когда у Надежды кроме неё самой действительно ничего не осталось.

Слава богу, Витя этого не видел. Уже год, как он учился в МАРХИ. Сам поехал, сам поступил, сам устроился в строительную фирму на работу, освоил какую-то итальянскую штукатурку, подрабатывал. Как бедовал, не рассказывал, но домой не возвращался. Даже ей помогал. Стыдно... А что поделаешь?

Явился под Рождество. Заглянул в холодильник. Только и сказал: «Всё ясно. Мышь повесилась. Собирайся». Сгрёб её, повёл в магазин, набросал в тележку круп-макаронов, банок-консервов, прихватил бутылочку её любимого брЮта да мандаринов, расплатился. Встретил с матерью праздник и снова уехал. Какие там студенческие каникулы!.. Спасибо Господу за сына...

Надежда — одна из тех женщин, которые между сорока и сорока пятью проживают десяток лет, которому не под силу затронуть ни красоты, ни стати. О таких, как она, обычно говорят: «Без возраста». Это у Нади по материнской линии. И мама, и бабушка, и прабабка — светловолосые, голубоглазые, ростом — чуть выше среднего. Крепкие, ладные. Долго копались в женихах, но зато замуж выходили раз — и навсегда. И хотя Надежда поломала эти тра-

диции, не стерпела, развелась-таки со своим непутёвым гулёхой Николаем, видать, как все её родственницы, осталась убеждённой однолюбойкой. Научилась не замечать ни на работе, ни на улице сластолюбивых взглядов.

Безрезультатно колеся по городу в поисках заработка, забредала она то в одно, то в другое учреждение. Однажды, устав от недвусмысленных намёков работодателей, переступив порог Дома творчества и обнаружив, что из кресла директора выглядывал неказистый мужичонка, Надя подумала: «Ну, с этим можно сосуществовать спокойно. С такой внешностью женщин надо не обходить стороной, а обегать за пять вёрст». И, окрестив начальника «Жабом», согласилась на невесть какой, но всё же — оклад!

Через месяц она снова штудировала газеты, наматывала десятки километров в поисках хотя бы какого-то приработка. Жаб оказался на редкость предприимчив. В кабинет, где она (вспомнив о своём давнем увлечении) во второй половине дня занималась со школьницами домашним рукоделием, переместили зачем-то диван. И Жаб зачистил к концу занятий с проверками, напрашиваясь на нескафе-голд, который приносил каждый раз с собой, а, уходя, незаметно прихватывал до следующего раза.

Поначалу Надя, превозмогая отвращение, терпела посещение начальника, оттирая после него до блеска чашку, сердилась сама на себя, вот, мол, до чего нищета доводит, будь её воля, воздухом одним бы дышать не стала.

Но в марте, поздравив за праздничным застольем женский коллектив, подвыпивший начальник перехватил её в тёмном коридоре. Прижал своим мягким противным глобусом, спрятанным под длинный, в горошек галстук, к стене, и его короткие жабы лапки заскользили по Надиной шёлковой блузке, она рванулась что было сил, залепила пощёчину, вытянулась, как струна (казалось, даже подросла), и быстрым шагом направилась прочь. С оборвавшейся нитки сыпались на паркет, стучали, подпрыгивали и раскатывались по щелям её любимые бусы, но она старалась этого не замечать.

Добравшись до дома, упала в прихожей на стул, не раздеваясь, просидела несколько часов, повторяя: «Беда! Вторая! Жди третью...»

Наутро, вволю нарыдавшись (на новом месте не успела даже первой зарплату получить, а идти за ней она уже не могла себе позволить), взяла ножницы и, не помня, что творит, обчеккрыжила свою чудесную шевелюру. Вымыла рамы, перестирала шторы, вытащила на свежий, принесённый внезапно вчерашней метелью снежок дорожки. Лупила по ним с такой силой, что сломала выбивалку. Вечером, окинув придирчивым взглядом квартиру, подуспокоилась. Но потом опять две ночи не спала, просыпалась и редела, редела.

Наконец с красными рачьими глазами, посеревшая и осунувшаяся, постучалась к Катерине подровнять торчащие локоны, подвести за чаем итоги очередной неудачной попытки обрести хоть какой-то достаток.

«Не дрейфь! Прорвёмся, — поддержала Надежду никогда не киснувшая подруга, — или в стране что-нибудь изменится, или сами что-нибудь надумаем, не может же так продолжаться бесконечно». Катерина понимала, что и она в любой момент может оказаться безработной, да ещё и без крыши над головой. Прозябала она уже с десятков лет в ведомственном жильё. Но такова уж была подруга. Вот кого надо было назвать Надеждой!

Зиму Надя перебивалась частными уроками (Катерина где-то раздобыла для неё двух выпускниц), постройнела на пару размеров, еле-еле сводила концы с концами, но держалась. Родителям так и не осмелилась заикнуться о своём житье-существовании.

Им и своего горя хватало. Гордая, сильная духом мама слегла. Обострилась

застарелая болячка. Казалось, что держалась матушка теперь только этой самой силой духа. Больше уж и нечем. Как такой о своих горестях поплачешься... Отец? Если быть честной, ему — спасибо... за то, что упрямился, не переезжал к ней, освобождал от тягот по уходу за больной мамой. Не обманешь родительского сердца. Видать, догадывался родной, как не сладко ей приходится.

Надя, как только объявлялись какие-никакие деньги, мчалась проведать стариков. Постирать-приготовить, помочь по дому, в огороде. Просто потолковать, приободрить, мол, у неё всё в порядке. А мама не верила: «Глаза у тебя, Надюша, грустные. Ох, неладно что-то у тебя, неладно!»

Под Троицу опять приехал сын, опять потащил по магазинам. Надя сопротивлялась.

— Зачем тратишься? Откуда такие деньжищи?

— С работы, вестимо! — отшучивался Витя.

— Вагоны разгружаешь? — вспомнила она, как в её молодости ребята-однокурсники бегали по ночам прирабатывать на вокзал, а потом, на лекциях, вповалку спали.

— Специальностью, специальностью надо зарабатывать. Я как-никак будущий архитектор! — улыбался Витя, но тайну своих доходов до конца не раскрывал, секретничал.

Она знала: упрямый, с расспросами лучше не приставать. Тихо радовалась: «Мужик растёт!» А с этой потаённой радостью затеплилась и надежда, может, хоть мальчик (чем чёрт не шутит?) при его характере вырвется из болота, которое её уже, видать, никогда не отпустит — опереться не на что и не на кого. Рядом — такие же, мечущиеся в безысходности друзья, знакомые, соседи.

## II

В тот день Надя пересаживала свой любимый плющ. Вымахал за последний год, раздвоился, проскользнул из прихожей одним усом в кухню, другим заполонил спальню. Катерина прозывала его почему-то «мужегон» и каждый раз ворчала, мол, сколько тебе говорить, подруга, избавься ты от этого лопуха. А Наде нравился его вездесущий норов, его неуёмное стремление к жизни. Цветок прищемляли дверью, отхватывая огромные плети, забывали поливать, а он — молодчага, всё прощал, имел весьма сносный, даже на редкость терпеливый характер. Ну, не могла Надежда согласиться с такой необоснованной кличкой для любимца — «мужегон»! Для неё он был чудо-дерево, привезённое из Сочи, напоминание о единственном, самом ярком семейном отпуске, после которого и появился её Витюшка.

Прикупив в хозмаге громадную кадку, Надя пыталась перевалить в неё плющевое, непомерно разросшееся корневище. Руки по локоть в земле. Умаявшись, сердчала, выговаривала своему «зеленоухому другу», когда раздался звонок. Надя, отряхнув кое-как перепачканные руки, схватила трубку.

Безо всякой подготовки, далёким-далёким, словно с Сахалина, почти неузнаваемым голосом отец произнёс три страшных слова: «Умерла мама... Приезжай!»

Вот она — третья беда! Самая большая!

Тело разом перестало ей подчиняться, как-то неуклюже обмякло. Медленно оседая, она сползла по стене... села на расстеленные вокруг кадки, перемазанные землёй газеты. Из трубки, вдруг спохватившись, кричал отец: «Надя! Дочка! Надя!» Но что-то с невероятной силой сжало её, она окаменела... одни лишь плечи вздрагивали и вздрагивали в беззвучном рыдании.

Почему-то вспомнилось, что мама не хотела умирать в холода... радовалась,



что дотянула до травки... Конец апреля.... Черёмуха буреломит... А её не стало! И уже никогда-никогда не будет!

Надя не помнила, как добралась до родительской усадьбы. Последние годы в опустевшей деревне на многие вёрсты горел один-единственный огонёк — их крылечный фонарь, словно в безбрежной, непроглядной пучине сиротливый маяк. Оглуший и почти ослепший от старости, Дружок вот уже год, как не выбегал навстречу.

Ступая осторожно, словно боясь кого разбудить, Надя подошла к калитке. Накатила, душила страшная тишина. Чёрные, провалившиеся глазницы окон... Может, неправда? Света нет!.. Может, спят?.. Сердце захолынуло... Но ведь последние годы, как только слегла мама, до рассвета в доме не гасили ночник!

На ватных ногах дотащилась до крыльца. В темени позднего вечера наткнулась на что-то мягкое. «Дружок! Дружок!» Пёс даже не пошевелился. Попыталась растолкать — не откликается. Охватил ужас — и он!..

Постучала... Фонарь над входом обжёг своей холодной пронзительностью. Послышались шаркающие шаги... Отец!

— Что ж ты... в темноте-то?!

— А зачем мне теперь свет?

Если сейчас спросить... похорон она не помнила... Как в тумане... Погруженная в только одной ей ведомые думы, поехала на кладбище, сама выбрала место для могилы (чтоб на полянке, чтоб на просторе, где посветлее), отдала какие-то распоряжения по приготовлению к поминкам. На удивление родственников, две ночи (пока тело мамы стояло в горнице) всё укрывала её напоследок бабушкиным пледом. Его убирали — жара. А она снова находила и покрывала маму. Отвечая на немые вопросы, говорила: «Холодно... Она боялась холода». Кроме обычного смертного, разыскала мамин любимый костюм. На подкладке. Ничего не видя сквозь слёзы, на ощупь передела в него покойницу, заменила тоненький платочек на шерстяной подшалок, кроме чулок, чтоб теплее, — гамаша. Всё, что ещё могла сделать.

...С уходом мамы для Нади наступило безвременье. В самом прямом смысле. На похоронах у неё пропали подаренные когда-то мамой часы. Она пыталась разобраться, что значила эта добавочная потеря. «Какой-то знак свыше», — думалось ей. Но какой?..

Она не спешила обзаводиться новыми часами. И время для неё остановилось...

Навешая отца, Надя старалась переманить его к себе, в город. Но все уговоры заканчивались одним и тем же: «Слягу — тогда не откажись, а пока колтыхаю, нечего мне в ваших городах искать». И тогда Надя предупредила и брата, и невестку: «Раз такое дело, пока отец будет здесь, всё должно остаться по-прежнему, как при маме».

Полгода после похорон она не открывала шкафов, не заглядывала в комоды. Не могла... Там лежали вещи, которые хранили мамино прикосновение, пахли её любимой «Красной Москвой». Пустые флакончики заботливо разложены между аккуратных стопочек белья, рассованы по карманам пальто и плащей. Казалось, там ещё витал мамин дух. Открой дверцу — и он испарится, вылетит, исчезнет навсегда. Надя крепилась, держалась этим ощущением, ощущением последней, тончайшей, эфемерной близости с мамой.

Правда, с тех пор как её не стало, Надя, прислушиваясь, как вздыхает за перегородкой отец, не могла ни одну ночь, проведённую в опустевшем, став-

шем почему-то неизмеримо просторным родительском доме, сомкнуть хоть на минуту глаза. Она находила себе любые дела (как когда-то мама), чтобы обрести равновесие, чтобы хоть как-то справиться с не отступавшим от неё горем: драила полы, чистила посуду, делала всё, чтобы не смотреть на опрятно застеленную материнскую кровать.

Однажды отец, озабоченный её состоянием, надеясь, что Надя хоть как-то отвлечётся, зашёл издалека: «Ты бы посмотрела всё ж таки, что там у матери в сундуках, в шкафах. Разобралась бы. Мне эти ваши отрезки, рушники да подзоры ни к чему. Забери, для тебя ж берегла... У тебя жисть впереди, может, что сгодится... Да... говорят, что одежду, в чём покойница помирала... постельное там... сжечь бы... Петровна присоветовала... Полагается...»

Надя молча взяла узелок, в который, снаряжая маму в последний путь, уложила снятые с неё вещи: ночная сорочка, ситцевый платочек, вязанки, наволочки-простыни. Он, этот узел, так и оставался с самых похорон в углу осиротевшей кровати. Никто не смел к нему прикоснуться.

На пустыре, по сумеркам, развела костёр. Одна... без отца... чтобы не видел, как она сжимает зубы, как не может справиться с выплёскивающимися из неё рыданиями, как воет, причитает, бросая в костёр последнюю мамину одежду. Долго смотрела на пламя, забыть его не сможет до конца своих дней.

Отец не тревожил, не окликал.

Наконец последние искорки отлетели к небесам. Костёр погас, и показалось: с его умиранием на крошечную, мельчайшую капельку притупилась, заглушилась, пригасла нестерпимая боль потери.

### III

На другой день, лишь забрезжило, Надежда отправилась в кладовку. Принимать наследство.

На самом деле это и не кладовка вовсе. Много лет назад, когда не стало отцовых родителей, эту засиротевшую светлицу так и не стали обживать заново. Здесь всё осталось по-прежнему, как при стариках: та же никелированная кровать, с блестящими шарами, в которые маленькой девчонкой Надя любила смотреться и корчить всевозможные рожицы, тот же, тканый на тогда уже разваливавшемся, перевязанном, скрученном вожжами прабабкином стане настенный ковёр.

В самой середине его без каких-либо схем-чертежей, просто так, по генетической памяти, хранившей передаваемый из библейских времён лик Пресвятой Богородицы, любовно выткана женщина, покрытая омофором. С ярко-золотистым (благодаря окрасу нитей особыми травами) нимбом, с воздетыми к небесам руками — Мать Оранта.

Каждый вечер, отчитавшись за прожитый день, посоветовавшись о завтрашнем со Святыми угодниками с Божницы, укладываясь на взбитую перину, рядышком с Надей, старушка словно продолжение молитвы шептала внучке осевшие в памяти Нади на всю оставшуюся жизнь слова: «Спи, дитяtko, с миром. С нами крестная сила и Матерь Оранта... и денно, и ночью. Перекрестися на неё с поклоном, покуда не чуешь, к спящей, она к тебе сотан-то и не допустит!»

Наде припомнилось из раннего детства, как на дворе в двухведёрных пузатых чугунах, водружённых на каменку, бурлил крутой кипяток. В него подсыпали из газетных кулёчков красители, выбранные у Петруши-старёвщика на меню. Подбавляли дубовой коры, соснового лапника, а коли потребуется — сенца, бузины-чернильницы, зверобойчика. Мотки овечьей пряжи, тонко сработанные за зиму, окрашивали в яркие, до рези в глазах, цвета.

Просушивали здесь же, в саду, развешивая на яблоневых и грушевых сучках. В такие дни сад для маленькой Нади превращался в сказочное тридевять-земелье. Она ныряла меж пёстрых нитей, вытянутых до самой земли прикреплёнными к их концам валунками. Пахло овечками, Глашкой и Нежданкой. А солнечные лучи, просачивавшиеся сквозь разморенную красильными парами листву сада, воспламеняли подворье в какие-то неземные цвета.

Надя кружилась на месте, перед ней мелькал гигантский калейдоскоп, и подворье окрашивалось, как по мановению волшебной палочки, в изумрудно-лилово-бирюзово-пурпурные тона.

Может, бабуля — и не бабуля вовсе, а какая-то добрая ворожея? Помешивая шерсть в чугунах выструганной дедушкой специально для этого дела рогулькой, стряпает она своё колдовское зелье, которое (если раскрутиться быстрее) белогористого Барсика выпачкает каким-нибудь серо-буро-малиновым, совсем некошачьим цветом, а перышки на красном крылечном петушке вдруг засияют такими перламутровыми переливками, что покажется, вот-вот он встрепенётся и заорёт на всю округу, мол, радость-то какая объявилась, день-то какой лучезарный!

На кровати, как и при стариках, пуховые подушки. Маки-незабудки на наволочках поблёкли, но всё ещё можно различить витиеватые прошивы. На одной: «Первый звон — пропадай мой сон; второй звон — земной поклон; третий звон — из дому вон», а на другой: «Страшен сон, да милостив Бог». В Надином роду всегда спали на таких подушках, с расшитыми наволочками. И всегда на них какая-нибудь присказка прописана. Дед, например, любил, чтобы у него под головой было напоминание: «Долго спать — с долгом вставать» и «Хвали сон, когда сбудется».

На большущих подушках до самого потолка одна на другой — думочки разных размеров, одна другой меньше. И все в цветах-птичках, все со старинными поговорками.

С тех пор как не стало стариков, наезжая домой, Надя любила (как бы ни отговаривали родители, мол, там уж и духа жилого нет) ночевать в этой комнатушке, в которую теперь снашивали ненужные вещи и которую постепенно, к огорчению Надежды, захламляли. Здесь когда-то, да изредка и сейчас, снились ласковые сны, здесь ей было тепло и уютно. Каждая занавеска, каждый половичок напоминали о её детстве.

Бывало, разойдутся все из дому кто куда, останутся только Надя да бабушка. Малая кукол пеленает, старая — за громадным ткацким станом. В деревне пристыдят за леность, коли полы не устелить «своими» половиками. Порвёт-подерёт бабуля старое старьё на длиннющие лоскуты и «наработает» половиков да дорожек: и в простую полосочку, и хитротканые, с заумными узорами. Но половики — что!

Вот коли речь повести о бездонном бабулином сундуке, так и дня не хватит на тот рассказ. Боже мой! Сколько этот старикашка знает, сколько помнит! Наверно, не забыл и тот день под Рождество.

Надя уже в школу ходила, во второй класс. В самом начале каникул, посприв с подружкой Машкой, кто больше сосулек съест, нализалась-нахрустелась их столько, что Машке вовек не осилить. Уже к вечеру расхворалась, была укутана крест-накрест бабулиной шалью, растёрта гусиным жиром и на все каникулы отлучена от санок. Сколько ни просилась, «ни-за-что!», — отрезали, сговорившись, все.

Замотавшись в предрождественских хлопотах, родные на какое-то время о болезной позабыли. Где там! И пирогов напеки, и холодца настряпай.

Бабуля оставила свой драгоценный сундук распаханутым, видать, искала

в нём что-то, может, праздничную скатерть, а может, нарядиться, подшалоков новый. Стопами лежали на лавках рушники и отрезы ситцев-штапелей, шали и покрывала.

Надя, разобидевшись на весь белый свет, влезла на табуретку и прыгнула на дно. Крышка от её прыжка и захлопнулась. Бабушка доила в сарае корову, мама тоже хлопотала где-то по двору. Дома — никого.

Сначала Надя ещё пыталась выкарабкаться из ловушки, но ни тут-то было! Тяжеленная крышища не поддавалась. Наконец, наревевшись досыта, она свернулась на самом доньшке калачиком и заснула. Какой переполох устроила своим исчезновением — не передать!

Он и сейчас ещё здесь, тот дубовый, таинственный, удивительный, самый большой, из всех, что Надя видела в своей жизни, старый-престарый (кажется, ещё прапрабабкин) красавец-сундук.

Когда-то он был празднично расписан крупными аляповатыми заморскими бутонами на крышке; по бокам возлежали две жар-птицы; а в центре — красивая пара. Надя до сих пор не знает о ней ни сказки, ни были, не припоминала их и бабуля, видать, затерялись в закоулках памяти (её или того раньше — её бабушки), но называла она их — Бова Королевич и Королевна Дружевна.

Цвета поистёрлись, и теперь лишь можно догадываться о стародавней немудрёной раскраске сундука. Бабуля огорчалась, что в семье никто так и не обновил на нём узорочья. «Ить вот Витя-т мал-малецки «красит»!» — сетовала порой старушка.

Если отрывать картинки, наклеенные на внутренней стороне крышки, слой за слоем, то до каких времён можно добраться, Надя не знала. Наверно, можно отыскать и лубочные картинки, и дагеротипы.

Последняя оклейка, скорее всего, произошла лет тридцать назад, когда в клуб по два раза на неделе возили индийское кино. Бабуля выпросила у киномеханика афишу с двумя индианками-близнецами, заварила на муке клейстер и пришлёпнула портреты полюбившихся чернокосых девчонок под крышку своего сундука.

Может быть, в наши, с заморскими мебельными гарнитурами времена покажется странным удивительная теплота и нежность, охватывавшая Надю всякий раз, когда она дотрагивалась до простецкого, потерявшего счёт годам сундука с железной кованой отделкой. А она в такие минуты словно погружалась в бабулины сказки, в самые что ни на есть преданья старины глубокой. Особо далеко ходить не надо, и выдумывать ничего не надо. В углу — прялка, по стенам — лавки, под окном — стол с широкой деревянной столешницей. Сказочный, волшебный мир детства!

Вот ведь были же мастера... Вроде бы что за невидаль — сундук! А какая на нём ручная декоративная ковка! Бока изукрашены тяжёлыми коваными уголками, верх и стороны — такими же полосами. Бабушка сказывала, что привёз его в подарок прадед своей жене аж из Новгорода. Зачем его забросила судьба в те дальние края, она не ведала.

Многие годы, оставаясь в семье, переходя лишь по наследству, какую только роль ни играл этот сундук за долгую свою жизнь: был и столом, и стулом, и кроватью, а самое главное — служил для хранения одежды. В нём же держали важные бумаги и документы. Бабуля прятала меж отрезков ситчика завязанный узелочком носовой платок, в котором сберегала копейку-другую про чёрный день. Здесь же хранилась и стопка фотографий её и дедовых многочисленных родственников, которых к концу жизни они уже начали путать: братьев, сестёр, двоюродных, зятьёв, невесток, сватьёв, кумовьёв; их и своих детей, внуков, всех тех, кто не поместился в длинный ряд рамок на стенах светлицы.

Бабуля никогда не называла сундук сундуком, для неё он всегда оставался «коробеем». Как-то покусился было Надин отец на жизнь заблудившегося во времени сундука. Так бабушка подняла такой гвалт, что больше никто и заикнуться не посмел о покупке шифоньера ли, комода ли для стариковской светлицы.

Кроме навесного, обычного замка, имел он потаённый, встроенный, секретный механизмик, который несмотря на давность лет работал, как швейцарские часы, сбоя никогда не давал. Лишь в войну, когда бабуля вместе с другими вещами завалила его в шейной яме хворостом да копну сверху водрузила, замочек забарахлил, зачихал было от сырости, но Василич, местный Кулибин, что-то подвинтил, поплевал, постучал — и с тех пор замок не шалит.

После того как во время внезапного пожара, спасая самое ценное, шестеро мужиков на вожжах еле-еле выгатажили сундучище на вольный дух, дед приладил по бокам четыре крепчайших ручки (чтобы впрок ловчее перетаскивать).

Крышка у сундука тоже не из простецких, с секретом, в ней у бабули хранилось самое дорогое, требующее особого сбережения. Конечно же, по такому случаю здесь был свой особый охранник — замок, хитрей которого вряд ли сыщешь.

Кроме этого сундука было у бабули несколько ларей. Но замысловатостью и изяществом они не отличались, простые, грубые. А потому и отношения бережного к себе не имели. Стояли они в сенцах, в прохладе, и наполняли их, сколько Надежда помнит, и зерном, и мукой, и солью, и чем попадая.

От самой старшей в роду самой младшей передавались всегда на Руси такие сундуки, набитые всякой бабьей всячиной. У Надиной мамы тоже имелся сундук, и не один. Но начала наследница осмотр своего добра именно с бабушкиного, потому как знала, что в этом «коробее» сберегались заботливо пересыпанные полынными цветиками от моли (как говорили в этих краях: «от шашала») вещи ещё её прабабки. Вынимались они лишь для проветривания и просушки, в летний жаркий день. А чтоб не выгорали на солнышке, вывешивались в полутенёчке.

Раньше Надежду удивляло, с каким трепетом бабушка доставала прабабкины панёвы, как ухаживала за ними, оберегая от моли и солнца. «Одёжка, как одёжка, что в ней особого, дорогого?» — думалось когда-то Наде.

Но для бабули ни одно подаренное Надиными родителями платье не могло иметь ту цену, которой обладали три наряда, три панёвы, над которыми пуше всего суетилась старушка.

Одна из них звалась «годовой», надевали её только по Великим дням, по Двунадесятым праздникам. И была она самой нарядной. Богатство же этого наряда определялось по украшениям на подоле. Чем больше ярких полос, тем ценнее панёва, тем наряднее хозяйка. На годовой панёве цветастых полос аж семь штук!

«Полугодовую» носили по очередным праздникам, по всевозможным торжествам, крестинам, именинам. Наряд этой панёвы был более скромным. Но из-за того, что одежда эта, как правило, была распашная, женщины и тут умели показать форс — носили её с «подтыком», поднимали, подтыкали полы за пояс, фигура становилась более пышной, статной.

Третья панёва — самая скромная. Но и она отличалась своей особой красотой. Обычно в ней ходили по воскресеньям к обедне.

Такие панёвы надевались (вроде юбок) на длинные рубахи.

Надя покопалась, пытаясь найти рубашку. Кажется, была одна такая. Но вспомнила, что бабуля наказала положить её в гроб неприметно в ней.

Цепкая детская память запечатлела, сберегла для тёплых воспоминаний в будущем роскошь ручной вышивки, символику добра на вороте, подоле и рукавах. Повсюду — круги, кресты и ромбы, птицы, олени и кони. Рубаха была расшита красными и чёрными нитками, разными техниками: и «крестом», и



«набором», и «настилом», и «росписью», длиннее панёвы, а потому великолепные райские птицы на подоле словно выпархивали из-под её пёстрых полос.

И вот теперь наряды, которыми дорожили женщины её рода, принадлежали Надежде. Давно нет бабули, не стало и мамы, некому, кроме неё, ухаживать за накопленным несколькими поколениями «бабьим добром».

День прокопалась она в старом сундуке, прежде чем добралась до донышка. Оглянулась: на лавках, на столе, на кровати — повсюду стопки и стопочки, вороха и кучи «бабьей радости». Одних рушников — под сотню, не меньше, гора горой. И крестом, и гладью, и стежком, и списом, чем только ни измудрялись их расшивать. А кружева по концам — любая елецкая мастерица обзавидуется. Ведь дочка у матери, оттачивая мастерство, сберегая самое ценное, переснимала самые лучшие мотивы.

По качеству и количеству рушников судили о мастерстве и достатке невесты. Надя помнила ещё то время, когда под праздники вместе с бабушкой украшала светёлку самыми красивыми, самыми старыми рушниками, доставшимися её бабушке, кажется, ещё от прабабки. Вышиты они были одним из самых древних русских счётных швов — росписью (письмом).

Она тогда всё не могла понять: как это так в старину могли вышивать, что с обеих сторон всё выходило гладко да аккуратно, не было ни изнанки, ни лицевой стороны. Видать, её предки-прабабки были мастерицы что надо. Бабуля толковала, мол, такой искусный шов удваивает береговую силу рушника. А название его — письмо — указывает на то, что вышивки на этих старинных полотенцах вовсе не бессодержательные картинки, а самая что ни на есть книга, в которой особым языком записаны-вышиты очень важные знания русского народа. Письмена эти разные, но объединяет их всегда одно: обязательное пожелание здоровья, семейного благополучия, добра и счастья.

В русской хате полотенце занимало особое место. Без него не обходилось ни одно важное событие: и дружков, отправляясь свататься, перевязать, и новорожденного на него принять, и иконостас обрядить, и раму, в которой вся родня рядком сидит, украсить. На полотенцах и в последний путь из дома выносили-проводжали, и в могилу на них опускали.

Особое место среди нарядов занимали передники. Сколько Надя помнит, на кухонной вешалке всегда можно было обнаружить несколько штук. Стряпать ли, подать ли на стол — обязательно пригодятся. Но то были простецкие, каждодневные фартуки. И в сундуке таким места не отводилось.

Праздничный передник, тот, что надевали по особым дням, — наряд особый. Украшали его сплошь вышивкой да всевозможным кружевом, рюшами да оборками, кто во что горазд. Бабуля передник звала «завеской». «Что за фартук такой? Завеска и есть завеска», — утверждала она, и пытаться её переубедить было совершенно бесполезно.

Заглянувший в распахнутое окно отец не решился потревожить дочку, погружившуюся в воспоминания ли, в размышления о будущем (кто знает?), лишь на мгновение задержал свой взгляд на распотрошенном сундуке, на разложенных по столу фотографиях и тихонько удалился.

Надя даже не вышла к ужину. Как сидела на кровати среди вороха родных, знакомых с самых ранних лет вещей, укрывшись любимой бабулиной белокрайкой, так и не заметила, как уснула. Первый раз за столько времени не помнила, как промигнула ночь.

С рассветом сбегала на кухню, прихватила кринку молока да полкраюхи, и опять на стариковскую половину. К маминому сундуку ещё и не под-

ступалась. Сундук этот, хоть и даден был маме в приданое, оказался, спустя самое малое время, вещью, почти что ненужной. Выглядел он намного проще бабулиного, неказистенький, ящик ящиком. Накупив шифоньеров и комодов, родители, стесняясь выставлять «пережиток прошлого» на показ, задвигали сундучишко то в дальний угол, то выпроваживали в сенцы, а как не стало стариков, убрали в светлицу — с глаз долой.

Фотографий в нём не хранили, теперь про то альбомы имелись. Одежда — в платяных шкафах и комодах. Денег, припасённых на чёрный день, у Надиных родителей не водилось, потому как этот чёрный день слишком затянулся, длился для наших деревень уже не один год, и накопленные про худые времена деньжата истаяли, как вешний снег.

Откинув крышку сундука, Надя подивилась: на дне его лежал увесистый узелок. В льняной скатерти аккуратно уложены какие-то вещи. А под хохолок узелка подоткнута бумажка.

Надя развернула её и тут же узнала этот «неправильный», в левую сторону, наклон, которым грешили многие медработники. Мама по окончании медучилища столько лет профельдшерствовала в родной деревушке! Её почерк. Всего несколько слов: «Для Вити. Для правнучки или правнука».

Развязав «посылку в будущее», Надежда обнаружила полное детское приданое. Надо же, и когда только успела! Таилась, подарок готовила. Всё любопытствовала, нет ли у Вити подружки, обрадовалась, когда узнала, что внук собирается обзавестись семьей, и вроде бы даже потомство намечается. Зачув свой недолгий век (вдруг не дождётся!), потихоньку собирала для Вити, что могла... Распашонки и чепчики. Всё обвязала кружавчиками, расшила орнаментами-завитушками. Море ситцевых и фланелевых пелёнок. Вязаные пенеточки-таптушки, даже костюмчик из мягчайшего козьего пуха. Но когда Надежда добралась до последнего дара, ахнула. Детское лоскутное одеяльце! Легчайшее, невесомое. Так вот куда пошли исчезнувшие пару лет назад две пуховые подушки!

Как-то летом, просушивая на выставленных на припёке лавках постели — великое множество перин и подушек, Надя, зная им счёт, подумала, что просто обсчиталась. А оказывается, уже тогда мамина тайная работа по подготовке детского приданого шла полным ходом. Видать, торопилась, чуяла, что силы покидают её, а так хотелось оставить для внука что-нибудь, сделанное своими руками. Пусть не сможет она увидеть, понянчить правнуков. Эти пелёнки вместо неё обнимут и согреют её потомство... её кровиночку.

Вспомнилось вдруг, что на Руси лоскутные одеяла испокон веков считались оберегами. Мать шила новорожденному одеяло из своих юбок и сарафанов, защищая таким образом дитяtko от злых сил.

Надя пригляделась к квадратикам и треугольничкам, из которых выстраивался какой-то фантастический, знаковый узор. В каждом из них она узнавала кусочек, частичку какого-нибудь материнского платья, блузки. Это — в горошек, от нарядной кофточки, в которую мама любила наряжаться в самые счастливые дни её жизни, этот, травянисто-зелёный, — от шёлкового костюма, что подарил ей отец на пятидесятилетний юбилей. А вот этот — в мелкий розанчик — от любимого платья, что привезла она себе из поездки к сестре, в Москву. «Мудрая, хорошая моя», — слёзы катились по Надиным щекам, капали на разложенное на её коленях одеяльце.

Она — эта крошечная детская одеялочка — была справлена с таким сердцем, что Надя долго не могла её выпустить из рук. Казалось, что через неожиданный подарок для её сына Надя соприкасается с матерью, читает её думы, ощущает нежность, которой насквозь прошито, вдоль и поперёк простёгано это последнее в маминой жизни рукоделье.

Обратная сторона одеяла подбита небесным шёлком, ярко-синей строчкой выписаны то ли морозные узоры, то ли перья неведомых птиц. Лицевая же, самая нарядная сторона поражала своей необычностью. Среди пестряди ловко подобранных полос и квадратов в самом центре — тёмно-синее поле, а на нём — кипенно-белый ангел. Крылья распротёр, словно пытался обнять, защитить. «Надо же, выдумщица какая», — улыбнулась Надя, погладила умело вырезанное из газовой косынки, мастерски прилаженное перламутровое оперенье ангелочка.

На своём веку она видела столько лоскутных одеял, что удивить её каким-либо было непросто. В их доме всегда пользовались только такими, сшитыми бабушкой или мамой.

Лоскутное одеяло, как линия жизни: в детстве — маленькое, а под старость — большущее, «нарощенное» годами, судьбой, детьми, внуками.

Вон стоит в углу, отдыхает, списанная на пенсию, когда-то неумолчная старая-престарая швейная машинка. Сколько поработала на своём веку! Сколько обнов перешила! И не припомнит.

Сначала на ней стучала бабуля, шила незамысловатые наряды: штапельные юбки, ситцевые кофточки для себя, порты и рубахи для деда; модные послевоенные юбки и жакеты для дочерей.

Потом облюбовала её мама, наострилась мастерить себе и подружкам са-рафаны да блузки. А уж как замуж вышла, да деток нарожала, тут «зингерка» и совсем покой потеряла. Жужжала и днём и ночью, строчила-выдумывала детские платьица, костюмчики.

Как ни старайся, как ни наловчись экономно, по-хозяйски кроить, а нет-нет да останутся непригодные лоскутки, обрезки, небольшие отходы материи. Но и они у рачительной хозяйки пойдут в дело. Ткани на Руси всегда были дорогими и прекрасными, прежде всего вложенным в них трудом множества человеческих рук. Ценился каждый остаток. Ничего не выбрасывалось.

Из таких обрезков собирались, подгонялись по размеру косяки. Полосочка к полосочке, треугольник к треугольнику. Из них сострачивались квадраты. А уж из квадратов — полотнища для одеял: хочешь, махни рукой на цвет — распестри, как попада, а задумаешь понарядней, полюбопытней, так поломай голову, разложи лоскутики так, чтоб любо-дорого посмотреть — не одеяло получилось, а сплошное дивное узорочье.

В работе с лоскутами главное — цвет. Пёстрое при первом приближении, оно оказывается на удивление гармоничным при более внимательном рассмотрении. Такие вещицы считали, конечно, роскошью.

А вообще-то, появилось это рукоделие не из богатства. Тканью всегда в народе дорожили, лишний её кусочек никогда не пропадал. Измудрялись «вос-тожить» такие одеяла и из старых вещей, экономно выкраивая несношенные, уцелевшие лоскуты, ведь одежда, сшитая из натуральных материалов, из льна, хлопка, носилась долго, зачастую передавалась из поколения в поколение.

Готовясь к замужеству, девушка должна была (неприменно сама!), как залог счастливого брака, сшить свадебное лоскутное одеяло. Да не простое: для него собирали лоскутки от одежды жениха и невесты, их родственников с пожеланиями счастья и благополучия молодым. Такое одеяло являлось праздничным, первой реликвией для новой семьи, считалось её оберегом и передавалось по наследству старшему ребёнку.

Надя задумывалась и раньше, не находила объяснения, почему так завораживают, так притягивают взгляд старые вещи и предметы. Какой магической силой наделены старинные вышивки и лоскутные одеяла? Непонятна, неразгаданна и таинственна замысловатая вязь узоров, берущих своё начало ещё в дохристианской Руси.

Уж откуда повелось, Надя и не помнила, только отношение к «самделешным» одеялам было в их семье какое-то особое. Сработанные бабушкой и мамой для каждого члена семьи, они никогда не выносились со двора, не показывались посторонним, и уж тем более ими не укрывали гостей. Приезжим, даже родственникам, эти одеяла никогда не подавали. Для гостей держали городские, покупные – ватные, а про летний день – суконные.

Надя даже и не представляла родительский дом без лоскутного одеяла. Вот и сейчас бабулину кровать украшает такое. Уже совсем выцветшее, выгоревшее, но от этого не менее ласковое и родное. Укрываться таким одеялом на печи ли, на кровати – было обычным делом, у всех соседей можно сыскать (да не одно!) подобное.

Для наших баб шить лоскутные одеяла и покрывала – дело обычное и понятное. Скорее всего для них эти вещицы, тряпичные куклы да вышивка являлись самыми первыми рукодельными произведениями.

Прикинешь одеяльцем постель, и в комнате воцаряется уют, от знакомых-перезнакомых «кубинетиков» исходит такое тепло, такой свет, что в хате сразу водворяется лад и покой. Скромная, повседневная вещица, а одаривает немудрёное крестьянское жилище радостными красками, согревает в долгие знойкие зимы. Залатано-перелатано. Истрёпанное, затёртое, с узорами грубых швов, ватное лоскутное одеяло... неприснившихся снов, несбывшихся мечт.

Лоскутное одеяло – кладёшь памяти. Расстели одно за другим, и получится нить, связующая многие поколения, ведь на его полотне и лоскутки от маминого платья, и уголки-квадраты от бабушкиной юбки, и клетчатые ромбы от рубашки брата, и крохотные полоски от распашонки сына. Сшито-смётано оно из разных отрезков жизни людской. Здесь и радость встреч, и горе разлук, и потери, и ожидания, и веселье, и грусть – всё, чем жила семья на протяжении многих десятков лет. Оно – из воспоминаний о поездках, именинах и крестинах, рождениях детей и свадьбах; о бедах и похоронах, о болезнях и потерях... О самой жизни. Ведь она сродни «самоделишному» одеялу – собрана из встреч, переживаний, радостей и расставаний.

Каждое событие так же, как в жизни, на лоскутном одеяле оставляет свой след. А люди, укрывавшиеся им, тоже какого-то определённого цвета, как и клочки ткани. Вот лоскуток ярко-зелёный, цвета майской травки, – детский; этот, нежнейший, яблоневого цвета, – девичий, а вот эти – вишнёвый и знойно-красный – женские. Насыщенно-зелёный или синий, с переходом в фиолетовый, – явно мужской.

Одеялочка такая из тончайших ароматов и красок. Развернёшь – и разлетятся лоскутки, словно весёлый рой махаонов, капустниц и крапивниц. Синий, жёлтый, зелёный, оранжевый – мелькают клочки от фартуков и занавесок, покрывал и халатов. Пригождалось всё: штапель и батист, шерсть и ситец, шёлк и креп-жоржет, бостон и панбархат.

Вытрется на нём ситчик, потеряет блеск шёлк, там – пустота, там – заплатка, вата скомкается, заветшает любимая вещица: с кем-то расстался и кусочек тут же выпал, но приложит к нему хозяйка свои ловкие руки, подштопает, подстрочит, прирастит новыми лоскуточками – и опять согревает оно ставших для него навеки родными домочадцев.

Только к концу жизни одеяло лоскутное у всех разное, нет ни одного схожего: у кого-то – жалкие лохмотья и обрывки, у кого-то маленькое, чуть укроешься. Но у большинства – непомерные, роскошные двуспальные. А на его «поле», словно на подворье за широко расставленными праздничными

столами, много-много ярких ляпочков — деток, внуков, правнуков... А как же иначе? Жизнь на том и стоит...

Как выбросишь дорогие сердцу воспоминания: танцы под радиолу или гармошку, застолье по поводу первенца, поездки в гости, Рождество и Пасху, юбилеи и сватанье? Эти одеяла-памятки связывают в единое целое, в большущее семейство и живых, и тех, кого уже нет рядом, но о них всё ещё ведут беседы, шепчутся по ночам лоскутки их рубашек и платьев на этом чудо-одеяле.

#### IV

Спустя месяц нагрывавшая Катерина застала подругу, ползающей по полу квартиры, смётывающей какие-то уголки-квадратики. Повсюду горы лоскутов и обрезков однотонной и цветастой, в полосочку и горошек, в огурчик и звёздочку-мушку, шёлковой и штапельной, льняной и шерстяной материи.

— И куда ж ты запропастилась? — пробираясь сквозь бедлам, любопытствовала она у Надежды.

— Да я и не пропадала вовсе, делом вот занимаюсь.

— Боже мой! Куда мы катимся, не знаю! Рыться в производственных отходах теперь делом прозывается? — съехидничала чем-то расстроенная Катерина.

— Что стряслось-то? — Надя, почуяв неладное, отложила ножницы. — Выкладывай.

— Можешь меня в подручные взять, будем вдвоём в хархарах твоих копать-ся. Времени у меня теперь — через край.

— Ясно! Свободна, как птица?

— А чего ожидать-то? Последний цех накрылся. Все заводские помещения под бутики-салоны распроданы. Ловко! Производить теперь ничегошеньки не станем. Заграница нам поможет! Так, кажется, заверял незабвенный Остап Ибрагимович? Закупил за бугром — у нас втридорога толкнул, опять закупил — опять толкнул. Боже мой! Жить страшно...

Надя впервые видела подругу такой беспомощной.

— Давай-ка на кухню, ставь чайник. Я сейчас, через минутку. Почаёвничаем, потолкуем. Глядишь, что и прикумекаем. У меня к тебе предложеньице наклёвывается.

До самого вечера говорили и говорили они о будущем житье-бытье. Надежда рассказала о том, что недавно приезжал Витя со своей Наташей, вот, мол, мама, принимай невестку.

— А мне что, вижу: любят друг друга, дитё вот-вот народится. Разве ж я стану меж ними? Если Витя счастлив, так я — вдвойне.

— Чем невестка-то занимается?

— Да студентка ещё, третий курс текстильного. Не знаю... говорит, мол, академ возьмёт, а я так думаю: пусть ко мне дитё привозят, справлюсь, я теперь закалённая. А потом — я ж не одна!

— С кем это ещё?

— Как с кем? С Надеждой! — вспомнила мамины слова и улыбнулась Надя. — Ну, а теперь о главном. А не открыть ли нам с тобой, Катерина, общее дело?

— И чем же заниматься станем?

— А ты не удивляйся, потерпи, не сбивай, я тебе всё путём и растолкую.

Надя принесла недавно законченное лоскутное одеяло, в голубых тонах, с небесной шёлковой подкладкой. Развернула и молчит, наблюдает, понравилось ли подруге.

— Витя небось подарил? Дорогущее, наверно!



— Да нет уж! Сами с усами. Из таких же лоскутков, которые ты «хархарами» обозвала!

— Не может быть! Ну, Надежда, ну, рукодельница! Что ж ты талантище зарывала? И куда его теперь? Что дальше-то?

И Надя рассказала подруге о том, какое наследство оставили ей бабушка и мама. Показала старую «Зингерку», с горем пополам притащила с собой из деревни. Отвела Катерину в спальню, где на месте комода поселился бабулин красавец-сундук. (Мамин Надя оставила в светлице, сложив в него кое-какие вещи.)

Щёлкнув хитромудрым замочком, приоткрыла крышку «коробея». Дохлая польнком, чем-то родным-родным, до боли знакомым, глубинным. А когда начала хвастаться содержимым, Катерина загорелась.

— Я знаю, что делать! Это не должно лежать мёртвым грузом! Это просто не может молчать! Надо что-то придумать! Может, выставку какую устроить? — не переставала она тараторить.

— Подумаем. Может, и выставку. Только я не о том. Невестка-то у меня толковая оказалась. Я ж из деревни два мешка лоскутов притащила. Накопилось, некому было в дело определить. Только развернула я свою «фабрику по пошиву лоскутных одеял», как приехали мои молодые. Наталья-то как увидела моё рукоделье, так и заявила, мол, если в салоне народных промыслов выставить, с руками оторвут.

Пока погостевали, я ещё одно одеяльце сладить успела. Увезли они оба одеяла с собой, а через неделю перевод выслали и телеграмму, мол, ещё готовь. Я с почтамта пешком шла, не могла в транспорте. Слезы ручьём бежали, успокоиться мочи не было...

Нет со мной ни бабушки, ни мамы, а мне, куда ни взгляну, чудится, что они рядом... Словно куда-то вышли на минуточку и вот-вот вернуться... И бабуля подсядет к окну, раздвинет ситцевые с голубками занавески, привычным движением, не глядя, нащупает на липовой этажерке очки и затеет смётывать-«сбирать» очередное одеяло, а мама потопает в сенцах валенками, пооббивает с них бурьянным веником ледышки, распахнёт с хрустким вздохом двери, пропустит впереди себя клубы искрящегося пара, протянет мне раскрасневшимися застывшими руками огромную охапку свежестиранных рушников, таращащихся от каляного мороза, дышавших свежестью, польньюй и рождественскими хвойными ветрами...

Царство им обеим небесное!.. Выручают они меня и по сей день... поддерживают. Память о них да оставленное ими наследство, дай-то Бог, помогут перебедовать да стать на ноги...

Только не знаю уж, отчего, подруга, щемит у меня на душе и щемит, словно предаю я их в чём. Ведь не по нраву было бы бабуле, что одеяла мои лоскутные по миру разлетаются... Знаю точно, не по нраву... Осерчала бы она на меня: «Что ж ты, девонька, ай, нехристь, душу-то выстужаешь, напоказ выворачиваешь? Не след так-то... дажить за-ради куска хлеба, не след... Занедужит душенька враспашку-то, ветрами чужими захворает. То, что не напоказ, не для чужих глаз, самое сокровенное, в самой что ни на есть глубине носить следно, сбергать. Деткам сгодится».

